

Случайные жизни

Автор:

Олег Радзинский

Случайные жизни

Олег Эдвардович Радзинский

Каждый человек живет свою жизнь. Некоторым, впрочем, выпадает прожить несколько жизней – как автору книги Олегу Радзинскому.

Советское привилегированное детство в писательской семье со знаменитой фамилией и антисоветская мятежная юность, тюрьма и ссылка, лесоповал в Сибири и путешествия по южноамериканским джунглям, работа учителя в московской школе и карьера банкира на Уолл-стрит в Нью-Йорке – такого хватило бы на многих людей. Олег Радзинский прожил эти жизни один, и теперь читатели могут прожить их вместе с ним.

Олег Радзинский

Случайные жизни

© О. Радзинский, 2018

© Philippe Grollier/Temps Machine, фотография автора на обложке

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО “Издательство АСТ”, 2018

* * *

Маме и двум папам

“Но кажется, что это лишь игра

С той стороны зеркального стекла...”

Борис Гребенщиков

Жизнь первая

Советский репис

1958-1973

Детство реписа

Все советские дети были счастливы одинаково. Каждый несоветский ребенок был несчастлив по-своему.

Советское детство – безоблачное и беззаботное – парило над школами и пионерлагерями, детскими садами и московскими дворами, придавленными зимой снегом и шумящими пыльной листвой тихим задумчивым городским летом, когда дворы пустели – дети уезжали в пионерлагеря и по сельским родственникам. Москву заносило тополиным пухом, словно продолжал идти снег, но снег тот был мягкий и пушистый. И как тополиный пух, наше детство

было мягким и пушистым; оно обволакивало, убаюкивало и обещало, что такой же будет и юность.

Несоветские дети жили много хуже: они не могли учиться в школах, потому что за образование нужно было платить. Они не могли болеть и подолгу оставаться дома, чихая, кашляя и отпаиваясь горячим молоком с медом, потому что за лечение нужно было платить. Их несоветские родители были безработными или батраками на плантациях сытых противных буржуинов, которых у нас давно прогнал Мальчиш-Кибальчиш. Да и сами дети должны были разносить буржуинам газеты, мыть буржуинские машины или работать на буржуинских заводах. Советские же дети учились и играли, выполняя тем самым свой советский детский долг.

Кроме безмятежности, в советском детстве всегда оставалось место подвигу: тот же Мальчиш-Кибальчиш, Тимур и его команда, Павлик Морозов и его тезка Павел Корчагин звали, манили, трубили в горны и обещали нечто большее, чем игра во дворах и манная каша в детских садах. Они обещали причастность к чему-то несравнимо грандиознее, чем ты сам, обещали возможность возвеличивающей тебя жертвы и увековечивания твоей памяти в гранитном монументе, к которому придут пионеры и положат цветы, а затем застынут в пионерском салюте, вскинув детские руки к отглаженным и ладно сидящим пилоткам с красной звездочкой. Подвиг, как советское знамя, реял над нашим детством. Но даже подвигу не удавалось испортить его безмятежность и связанное с ней ощущение безопасности: подвиг подвигом, а сейчас кино и мороженое.

Дети, как любили напоминать наши учителя и воспитатели, были единственным привилегированным классом в СССР. Оттого и советское детство было таким счастливым.

Мое детство оказалось привилегированным вдвойне: я рос не простым советским ребенком. Я рос реписом.

“Репис” – на жаргоне сотрудников Литературного фонда СССР, Литфонда, – означало “ребенок писателя”. Жены писателей назывались столь же малопонятно, но более неблагозвучно – “жёпис”. Жёписы были наши мамы. Если, конечно, они сами не были писательницами.

Интересно, что для мужей писательниц не существовало похожего термина, например, “мупис”. Мужья оставались без названия – неопределенное семейное приложение к жрицам словесности – и в качестве таковых, как и писательские жены, могли пользоваться всеми благами, дарованными советской властью творческой интеллигенции. Которая, кстати, и была настоящим привилегированным классом в СССР.

Советская власть, как никакая другая, ценила творческую интеллигенцию. Эту традицию советская власть переняла у власти царской, которая также ценила искусство, и русские цари лично занимались судьбами писателей, приближая их ко двору либо ссылая в разные отдаленные места империи. Творческой интеллигенции выпала задача создать симулякр советской жизни в словах, картинах, скульптуре, музыке и кино. Ей поручили рассказать стране, как трудно та жила раньше, как – под мудрым руководством партии – преодолела эти невзгоды, пройдя через пламенные горнила революции и разных войн, и как хорошо, идя от свершений к свершениям, страна живет сейчас, а главное, каким замечательным станет ее будущее. За это творческой интеллигенции предоставлялись разные блага: квартиры с дополнительной площадью, ведь творцам нужно место, чтобы творить; путевки в дома творчества и прочие привилегии. Между властью и творческой интеллигенцией существовал социальный контракт: мы дадим вам дополнительные блага и даже позволим определенные творческие вольности, а вы оставайтесь лояльны. Или по крайней мере нейтральны. Этот контракт действовал до конца советской жизни и умер, став ненужным. Как стала ненужной и сама творческая интеллигенция.

Нынешней российской власти не нужна идеологическая obsлуга, поскольку у нее нет идеологии. Она никого не боится и не собирается ни перед кем отчитываться. Ее социальный контракт не с интеллигенцией, а с олигархами: оставайтесь лояльны или нейтральны, и вам позволят вести вашу олигархическую жизнь. Или не позволят.

При советской власти писатели жили особенно хорошо. У писателей были своя поликлиника, где они могли всласть лечиться, чтобы сохранить столь ценимую советской властью творческую активность, свои детские сады и пионерлагеря, в которых взрастали реписы, свои дома творчества и дома отдыха, где писатели творили, а устав – отдыхали.

Поликлиника Литфонда на метро “Аэропорт” была самым посещаемым писателями местом: там можно было получить оплачиваемый бюллетень. Этот

бюллетень относился в Литфонд, где околелитературные дамы – многие из них жёписы – выписывали квиток на оплату, и писатели отправлялись в кассу, чтобы получить заслуженные недугом рубли. Получив, литераторы шли в свой Центральный Дом на улице Воровского, где когда-то заседали московские масоны, а теперь находился известный всей творческой Москве ресторан ЦДЛ, и просаживали там заработанные болезнью деньги. Оттого, думаю, бюллетени и оплачивались щедро, что знала власть: принесут рублики обратно и потратят на водку и жюльены.

В детстве я не видел вокруг никого, кроме писателей, их жёписов и реписов. Иногда в мое детство забредали театральные режиссеры (мой отец был драматург, а мама – актриса), но они оставались гостями в нашей тщательно отгороженной от действительности жизни, и жизнь эта тянулась параллельно настоящей жизни страны, не пытаясь с нею смешаться, а подменяя ее другой – придуманной, написанной, книжной. Наша жизнь была полна литературных аллюзий, метафор и образов, и оттого другая, настоящая жизнь казалась много скучнее, бледнее, беднее. Настоящая жизнь была интересна лишь как отголосок жизни книжной, как слабое отражение мира, описанного литературой. В жизни моей семьи Тургенев продолжал жить в русской деревне, и деревня та все еще стояла у тихих речек с навсегда поселившимися в ней Хорями и Калинычами, с усадьбами, где бесконечно тянулись детство, отрочество и юность Николиньки Иртеньева и где в прудах росли кувшинки, а не квакали лягушки. Единственные лягушки, допущенные в нашу жизнь, были заколдованные царевны. И вся жизнь казалась оттого заколдованной, вечной, застывшей в ожидании новых литературных героев. Этими литературными героями должны были стать мы сами. Нас ждали постаменты.

Детство мое – а за ним и вся жизнь – могло пройти совершенно по-другому.

Мне исполнилось четыре года, когда, устав от моих бесконечных бронхитов, родители решили, что пора перестать укутывать меня шарфами и мучать банками, а нужно докопаться до причины моего кашля, и докопались: я оказался астматиком. После разных обследований и осмотров врачи посоветовали увезти меня из Москвы: ребенку необходим морской климат, сообщили они родителям. Их рекомендация носила чисто теоретический характер, поскольку кто же поедет из Москвы в морской климат? Да и куда?

Куда, однако, нашлось: аул Головинка под Сочи, в устье реки Шахе, впадающей в Черное море на окраине поселка. Меня привезли туда ранним июнем, мама

сняла две комнаты у черкесской семьи и оставила меня с бабушкой Лией. В августе бабушку Лию сменили приехавшие в отпуск родители, а в сентябре им на смену приехала другая бабушка – Соня.

Так – с несущими вахту родственниками – я прожил в Головинке до школы, проводя там восемь – десять месяцев в году и уезжая в Москву на Новый год и в июне, чтобы отправиться с родным писательским детским садом в летний лагерь в Малеевке, где пятилетние дети обсуждали, какими тиражами печатаются их родители. “Чтобы не отставал от жизни, – говорила мама. – А то совсем одичал”. Папа звал меня “кавказский пленник”.

Я и вправду одичал в Головинке. До позднего октября я бегал босиком с черкесскими детьми, собаками и козами. Мы купались в море, прыгая с волнореза и презрительно посматривая на бледных туристов-дикарей, задорого покупающих полуспелую алычу у местных женщин в черных платках, бродивших с ведрами вдоль рассыпанных по пляжу приезжих тел.

Все приезжие назывались “курортники”. Курортников можно было распознать по отсутствию загара и наличию полотенца. Никто из уважающих себя местных не пользовался полотенцами. Мы располагались или на крупной, нагретой кавказским солнцем гальке, или на волнорезе и оттуда наблюдали курортную жизнь, купаясь до посинения и обсыхая на теплом морском ветру. Из жизни отдыхающих – это было мое черкесское детство. К семи годам, когда я распрощался с Головинкой и окончательно вернулся в Москву – школа! – я сносно говорил на адыгейском, мог прыгать в море ласточкой и хорошо сидел на лошади, хотя в ночное – на ночной выпас лошадей – бабушки меня не отпускали.

С лошадьми получилось не сразу. Мы поселились у тети Фатимы и дяди Джантемира, у которых было шесть дочерей, но не было сыновей. Вернее, был один, но умер в младенчестве, и жизнь их проходила в окружении черноглазых красавиц и ожидании их замужеств и уходов в семьи мужей. Я же, блондин с льняными волосами и голубыми глазами, что по причине редкости нравилось местному населению, был мальчик, и тетя Фатима и дядя Джантемир хлопотали, пытались впихнуть в меня побольше жирной баранины и козьего молока.

Я был мужчина. А мужчина должен сидеть на лошади. Понимая это, дядя Джантемир где-то через неделю после начала нашей северокавказской жизни вывел из сарая свою кобылу Зарку, позвал меня и, легко подкинув, посадил на нее верхом.

До этого я видел лошадей только в книжках. Вообще все, что я видел до этого, я видел в книжках. Или мне об этом читали. Зарка была смирная старая кобыла и спокойно стояла подо мной, но я был страшно напуган: сверху казалось, что я сижу очень высоко над землей и неминуемо упаду.

Дядя Джантемир сунул мне в руки уздечку и похлопал по спине.

– Абрек, – приободрил он меня (я не знал, что такое “абрек”, и думал, что он так произносит мое имя Олег), – хочешь прокатиться?

Я не хотел. Я хотел вниз, на землю, и убежать в сад, где сидела ничего не подозревающая бабушка Лия и читала любимого ею Стендаля. Она читала Стендаля мне вслух, поскольку ребенок должен вырасти на хорошей литературе. Я тоже так считал и был готов слушать про жизнь в Пармской обители, лишь бы меня сняли с огромной страшной лошади и поставили на землю.

– Прокатись, – уговаривал меня безжалостный и, судя по всему, не разделяющий бабушкиных литературных вкусов дядя Джантемир, – уздечку держи крепко. Ногами ее по бокам – и пойдет.

Я боялся, но я был вежливый московский ребенок. Я был репис. Я не хотел обидеть старшего, тем более старшего, который мог снять меня с лошади и поставить на землю. Оттого я и произнес фразу, ставшую потом в ауле легендой и передававшуюся из дома в дом:

– Скажите, а если ногами по бокам, родственники этой лошади не обидятся? – спросил я.

С той минуты дядя Джантемир меня полюбил.

Он и тетя Фатима не отпускали меня ни на секунду, пытались отравить обилением еды и поручили шефствовать надо мной своему пятилетнему племяннику Мухе, жившему в соседнем доме. Долгое время я думал, что Муха – настоящее имя, и только года через два узнал, что это сокращение от Мухаммед. В делах же, которые Мухе не доверялись, – например, пойти в горы набрать желудей – за меня отвечала их пятнадцатилетняя дочь Мадина, сводившая с ума своей

красотой окрестное мужское население и приезжих.

– Бэла, – прищурившись на Мадину, говорила моя литературная бабушка-драматург Лия, сидя в саду под навесом из винограда. – Вылитая печоринская Бэла.

Перед бабушкой лежали три книги. Читать одну казалось недостаточно. Почитав, бабушка откладывала книгу и выносила из дома пишущую машинку. Она громко стучала по клавишам в саду, разговаривая сама с собой, и сочиняла истории про жизнь, которая никогда не случилась. Чтобы в мире было больше книг и меньше жизни.

Бабушка Лия не выглядела как бабушка. В юности она слыла красавицей, что подтверждали портреты, висевшие на стенах ее московской квартиры. Бабушка Лия была брюнетка со светло-серыми глазами и – в пору нашей жизни в Головинке – в свои с небольшим пятьдесят все еще сохраняла фигуру танцовщицы. Она была похожа на Весну с картины Боттичелли “Аллегория Весны”, но тогда я этого не знал. Она была красива той семитской красотой, что старые итальянские мастера придавали библейским женщинам, рисуя их с итальянских матрон.

Интересно, что сама бабушка Лия почти стала итальянкой. Ее жизнь, как и моя, могла повернуться совсем по-другому. Если бы не мандарины.

Мандарины во всем виноваты.

Бабушка Лия и мандарины

В 1917-м, когда революция запылала в России, бабушке Лии было семь лет. Она росла второй дочерью в семье Берке Квартирмейстера и его жены Мариам в приморском городе Новороссийске и, как большинство детей, думала, что проживет там всю жизнь.

Мой прадед Берке Квартирмейстер – часовщик и ювелир – был донельзя странным для провинциальной еврейской жизни человеком: высокий стройный

красавец со светло-пепельными волосами и зелеными глазами, Берке был фронт и бабник. Никакие эвфемизмы типа “ценитель женской красоты” к Берке не подходили: он попросту был бабник.

Мариам – маленькая, темноглазая, похожая на напуганную газель – все ему прощала. Она была младше мужа на двадцать лет и боготворила его. Берке вел светскую жизнь, играя в местном любительском театре и играя в бильярд на деньги. Он одевался у старого французского портного, шившего ему на заказ костюмы и рубашки по картинкам из позапрошлого модных парижских журналов, а Мариам, Маня, с двумя дочерьми – Дорой и Лией – ждала его с ужином дома. Иногда Берке пропадал по нескольку дней, неожиданно уезжая с одной из актрис театра, скажем, в Одессу – вероятно, репетировать. Маня никогда не спрашивала, где он провел эти дни, и молча подавала на стол. Ужин всегда ждал Берке дома, как ждала его дома и сама Маня.

Берке любил спорт: он играл в крикет и стал первым человеком в России, освоившим водные лыжи.

Берке зарабатывал много денег, выполняя муниципальные заказы: он делал городские часы, некоторые из них еще ходят, как большие вокзальные часы в Бердянске. Часы Берке висели по всей южной России и отсчитывали время его веселой жизни, пока не наступила революция. Тут часы пробили и остановились.

Берке Квартирмейстер не любил революцию. У него не было особых политических пристрастий, и он не отдавал предпочтения ни красным, ни белым. Он просто хотел, чтобы за часы платили. Платить же больше никто ни за что не собирался. И те, и другие – по разные стороны идеологических баррикад – брали, что хотели или считали нужным. Оттого Берке затосковал и решил эмигрировать в Италию.

Один из его партнеров по бильярду, осевший в итальянском портовом городе Триесте, видимо, напомиравшем ему родной Новороссийск, прислал Берке письмо о беззаботной итальянской жизни. Дольче фар niente – сладкое ничегонеделанье, искусство, доведенное итальянцами до совершенства, – манило Берке из разорванного гражданской войной Новороссийска, где не оставалось ни любительского театра с любвеобильными женами местных чиновников, под руководством Берке пробующими себя на сцене и вне ее, ни веселой и доходной игры в бильярд, ни милых его сердцу водных лыж с облегающим стройное мускулистое тело купальным костюмом.

В августе 18-го года после недолгих и хаотичных боев деникинская Добровольческая армия взяла Новороссийск, назначила Черноморским военным губернатором полковника Кутепова и начала расстрелы сочувствующих большевикам граждан. По городу поползли слухи о готовящихся еврейских погромах, и казаки из 3-го Донского казачьего корпуса недобро покачивались на лошадях, патрулируя центр и порт. Берке понял, что водных лыж ожидать не приходится. Он вздохнул и объявил Мане, что они едут в Италию.

Берке договорился с капитаном греческого грузового судна и, заплатив ему денег, ночью погрузил Маню и девочек в лодку и на веслах направился к стоявшему на рейде “греку”. Белые запретили выезд из города без разрешения вновь собранной ими управы. Белые хотели восстановить славную дореволюционную жизнь империи, а для этого были нужны подданные. Оттого подданным не позволялось убегать от готовящейся для них славной жизни.

Ранним утром – еще в полутьме, висящей зыбкой дымкой над стальной черноморской водой, – греческое грузовое судно снялось с рейда и отправилось на юг, чтобы выйти через контролируемые турками Босфор и Дарданеллы в Средиземное море. В трюме судна сидели Берке, Маня, Дора и Лия Квартирмейстеры. Они плыли в свою новую итальянскую жизнь. Так бы и получилось, кабы не мандарины.

Доплыв до Батума, “грек” встал на погрузку. Батум был оккупирован турецкими войсками, упразднившими за ненадобностью Закавказскую Демократическую Федеративную Республику, и, несмотря на недавние бои, в городе царила обстановка опереточного веселья, которой способствовало многоязычие толпы, экзотичность пейзажа и театральность турецких униформ.

Берке следил за жизнью, разыгрывавшей для него очередной спектакль, и через два дня решился сойти на берег, чтобы купить девочкам мандарины. Ни Дора, ни Лия мандарины никогда не ели и ждали возвращения отца с нетерпением.

Берке вернулся часа через четыре, без мандаринов, но с новым планом жизни. “Маня, – закричал он еще с трапа, – собирай вещи, мы сходим здесь. Остаемся в Батуме”. Маня, не спросив ни о чем мужа, молча пошла собирать вещи.

Они погрузились в ожидавшую их в порту повозку с грустным аджарским возницей и отправились в гостиницу.

Что случилось? Где мандарины? И как же сладкая жизнь в Триесте? Все это мой прадедушка Берке мгновенно забыл, и вот почему: отправившись за мандаринами, он встретил на рынке также пришедшего за мандаринами (а возможно, вовсе и не за ними) бежавшего из Одессы человека по имени Йося Либергауз, который с ним познакомился, напоил Берке вязким сладким турецким кофе в кофейне на набережной, а затем предложил ему остаться в Батуме и совместно – “на паях” – открыть кинотеатр. Берке послушался Йосю, остался в Батуме и открыл кинотеатр.

Через год в батумский порт вошли корабли со странным, невиданным Берке флагом – Юнион Джек. С одного из кораблей сошел генерал Кук-Колисс, объявивший себя военным губернатором, а город и прилегающий к нему округ – зоной британской оккупации. В городе стало еще многолюднее и веселее, цены на продукты взлетели в очередной раз, и в кинотеатре у Берке и Йоси музыкальная программа перед демонстрацией немых фильмов с похожими на кукол актерами зазвучала песнями на английском.

Маленькая Лия пробиралась на задние ряды и смотрела одно и то же кино в двадцатый раз. Она внимательно разглядывала публику, заполнявшую темный зал, и придумывала им жизни, похожие на мелькавшие на экране фильмы. Британские офицеры приходили смотреть кино с местными дамами, брошенными отступившей Кавказской армией, и Лия помнила, как те же дамы раньше приходили в кино с оттоманскими военными, и гадала, с кем дамы придут в следующий раз. Утром она и Дора отправлялись в гимназию для девочек, где мадам Костанеди учила их быть девочками, и две старые грузинские девы, прошедшие давно закончившуюся юность в Марселе, погружали их в таинственный мир французских глаголов. После гимназии Лию ждал урок фортепиано с маэстро Чхеишвили и игры с Дорой в большом тенистом саду, где у старой смоковницы жил привязанный к ней тонкой цепью попугай-ара, купленный неизвестно зачем Берке на базаре. Возможно, Берке надеялся, что попугай выучится говорить, но говорить попугай отказывался и недобро глядел на мир выпученными глазами-бусинками. Девочкам запрещалось к нему подходить близко: попугай клевался и убил у них на глазах подбежавшего к нему соседского щенка.

Британцы скоро ушли, и турецкая армия снова заняла Батум, способствуя очередному росту цен и подъему энтузиазма у посещавших кинотеатр дам. Вся эта мелкобуржуазная идиллия длилась до марта 21-го года, когда генерал Мазнишвили выбил турок из города, восстановив Грузинскую Демократическую

Республику. Восстановил он ее, правда, ненадолго, поскольку уже через три дня в празднующий очередное освобождение город вошли войска 9-й Стрелковой дивизии Красной Армии и освободили Батум от дальнейших освобождений на следующие семьдесят лет.

Спектакль батумской жизни закончился – опустили занавес.

Томные дамы перестали посещать кинотеатр, который скоро реквизировали под революционный лекторий, и Берке заскучал от победившей революции. Пару месяцев он раздумывал, не последовать ли ему за своей младшей сестрой Бетти в принадлежавшую туркам Палестину, но, пока он раздумывал, ревком под управлением Сергея Кавтарадзе закрыл границу.

Берке Квартирмейстер в очередной раз горько вздохнул и увез семью в Екатеринодар.

Опереточная жизнь в Батуми навсегда наложила на мою бабушку Лию отпечаток театральности существования. Она в конце концов стала драматургом и писала легкие, искрящиеся неглубокой радостью музыкальные комедии, пользовавшиеся в 50-е и 60-е годы большим успехом и шедшие во всех музыкальных театрах страны. Позже, устав от театра, бабушка Лия обратилась к детской литературе, и ее книга “В стране невыученных уроков”, написанная в качестве поучения для меня, приобрела огромную популярность и была включена в школьную программу. Так бабушка Лия стала классиком при жизни.

Итальянкой бабушка, правда, все же не стала, и в том виноваты мандарины.

Жизнь не удалась

В последний год моей приморской жизни, когда пришло время окончательно возвращаться в Москву, за мной приехали родители. Тетя Фатима и дядя Джантемир накрыли стол, долго поили маму и папу домашним вином “изабелла”, расспрашивали про жизнь в столице (в основном про цены) и, когда над садом нависла вишневая южная тьма, решив, что момент пришел, приступили к главному:

– Алла, – обратился к моей маме дядя Джантемир, понимая, что, в отличие от его семьи, в нашей все решает мама, – вы с Эдвардом молодые еще. Продай, хорошо?

– Что? – спросила мама. – У меня ничего нет, дядя Джантемир. Я ничего из Москвы не привезла, только вам подарки.

– Олечку продай, – вступила тетя Фатима. – Вы молодые, себе еще родите, а я не могу уже.

– Ему здесь хорошо, – аргументировал свою просьбу заботой обо мне дядя Джантемир, – он не кашляет, как у вас в городе, на море будет жить, фрукты свежие всегда. Молоко от козы.

– А вы с Эдиком приезжайте, отдыхайте бесплатно, на него смотрите, – предложила тетя Фатима. – Только не в сезон: в сезон курортникам сдаем.

– Ему у нас лучше, – закончил дядя Джантемир. – Продайте, да?

– А за сколько? – поинтересовался мой отец, которого страшно забавляла эта ситуация. – Какая ему, по-вашему, цена?

– Эдька! – закричала мама. – Прекрати свои идиотские шутки! Люди здесь неправильно понимают. Никогда! – повернувшись к хозяевам, отрезала мама. – Олег наш и будет нашим. Я скорее умру.

Смерти моей маме никто не желал, и потому я остался у своих родителей.

Вечером того дня, ложась спать, мой папа задумчиво бормотал:

– Интересно все-таки, сколько они хотели предложить?..

Меня не продали, а увезли обратно в московское детство, где оно постаралось затеряться меж уютных книжных страниц, не торопясь выбраться на холодный ветер настоящей жизни. Я не стал черкесским абреком, и мое детство продолжалось в симулякре, тщательно выстроенном из книг и населявших их героев. Так бы оно и продолжалось, но у жизни оказались свои планы

относительно моего воспитания.

Конфликт города и деревни

Я не заметил развода родителей: последний год совместной жизни папа появлялся дома все реже. Это объяснялось тем, что ему удобнее работать в другом месте. Потом он перестал появляться совсем, и меня возили к его родителям – бабушке Соне и дедушке Стасе – встречаться с ним раз в неделю. Он не знал, о чем со мной разговаривать, спрашивал, что я читаю, и потом долго говорил об этих книгах сам с собой. В нашей семье все чувствовали себя уютнее, говоря о книгах.

Мама скоро вышла замуж, и с нами стал жить другой папа – папа Тема. Руستم Губайдулин вырастил меня, и я верю, что если во мне и есть что-то хорошее, этому меня научил папа Тема. Он и мама работали вместе на телевидении в литературно-драматической редакции (литдраме) и придумали первый советский ситком – “Кабачок 13 стульев”. И стали писать для него сценарии вместе со своим другом и коллегой Толей Корешковым. Они писали сценарии по очереди: каждый месяц – другой человек. За сценарий платили сто пятьдесят рублей, что стало ощутимым подспорьем к ста двадцати рублям их редакторской зарплаты, и скоро мы переехали из комнаты в коммунальной квартире в Сокольниках в купленную на заработанные зрительским смехом деньги кооперативную квартиру на окраине тогдашней Москвы – в Дегунине.

Кооператив этот был ведомственный, выстроенный для работников недавно созданного в то время Министерства газовой промышленности СССР, ставшего впоследствии российской компанией “Газпром” (и национальным достоянием). В министерстве каким-то важным инженером-разработчиком трудился отец папы Темы. Он и помог родителям купить трехкомнатную квартиру в этом кооперативе, в которой прошли мое поменявшееся детство, затем и юность.

Мы были единственной семьей в доме, не имевшей отношения к газовой, да и к никакой другой промышленности; остальные жители могли говорить о трубах, прокладке, укладке и суровом Севере, мы же могли говорить только о книгах. Тут я повстречался с настоящей жизнью, и она мне решительно не понравилась.

Дегунино в конце 60-х годов все еще было деревней. Вдоль Коровинского шоссе стояли недавно построенные коробки девяти- и двенадцатиэтажных домов, но чуть вглубь лежала деревня Коровино с деревянными избами, огородами, грязными дворами и жившими в них курами, козами и коровами. Население делилось на “новостроечных” и “деревенских”, и конфликт между ними обозначился в первый же день в школе, куда я отправился в четвертый класс.

Деревенские не любили новостроечных. Рациональных причин для нелюбви не было, но когда рациональность мешала нелюбви? Как, впрочем, и любви. Они нас не любили, и всё.

Деревенские были сплоченной группой, знали друг друга с детства, и их родители и деды знали друг друга с детства. Между ними тоже шла непонятная нам, приезжим, вражда: жившие за карьером, поросшим лопухами и жестким кустарником, воевали с жившими ближе к шоссе, но эти мелкие местные распри были мгновенно забыты перед лицом увлекательной нелюбви – к нам, новостроечным. Они часто нас били, но все с меньшим ожесточением, и к середине года этот конфликт между городом и деревней потерялся, стерся среди других, более актуальных школьных конфликтов. Кроме того, город последовательно и неизбежно наступал на деревню, избы сносили, и деревенским давали квартиры в построенных на месте их изб девятиэтажках. Все знали, что в девятиэтажках квартиры дают, а двенадцатиэтажки – ведомственные кооперативы, и в них квартиры покупают. Оттого конфликт между деревенскими и новостроечными скоро подменился глухой классовой враждой населения девятиэтажек к нам, кооперативным. Нелюбовь, как вода, находит способ всюду проникнуть и заполнить собой открывшееся пространство: было бы кого не любить.

А кого не любить – всегда найдется.

Каждое утро я отправлялся в другой мир, в странную, непонятную реальность, где не говорили о книгах. В этом мире дети дрались, мирились, отнимали друг у друга выданные на школьный обед деньги и интересовались, кто сильнее кого. И совсем не интересовались жизнями книжных героев. Или биографиями создавших этих героев писателей, их влиянием на жизнь страны, их противостоянием этой жизни, или, на худой конец, кто что в каком театре поставил, и что цензура в лице Московского управления культуры “пропустила”, а что “не пропустила”, то есть всем тем, что наполняло наши семейные разговоры и заботы. В этом мире не говорили о новых рассказах Шукшина, его

самобытности, почвенности, нелитературности, о новых романах Трифонова или конфликте Аксенова с властью, о театре “Современник” и его конфликте с властью, о конфликте писателей-деревенщиков с “городскими” писателями, о Василии Белове и Андрее Битове, о Таганке и конфликте Любимова с властью, или о том, что в очередной раз не позволили снять Тарковскому. В мире, куда я отправлялся по утрам, были важны другие конфликты, и их реальность, их нелитературность утверждала себя синяками на моем удивленном этим миром лице каждый день.

Я знал только один путь борьбы с неприятной мне жизнью: убежать в книги поглубже. Оттого, придя из школы, я не садился за скучные уроки, а, погуляв с собакой – шотландским колли, подаренным мне на десятый день рождения, поскольку я тогда зачитывался шотландским писателем Вальтером Скоттом, – утаскивал полную сахарницу и кирпичик любимого бородинского хлеба на диван, где читал, читал, читал. Родители приходили домой, когда я уже спал, – у них часто были ночные тракты – записи передач, а я уходил в школу, когда они еще спали, потому мы виделись редко – на выходные.

Моими родителями стали прочитанные и многократно перечитанные книги, меня вырастили Айвенго, герои рыбаковских “Кортика” и “Бронзовой птицы”, гувернер Карл Иванович из толстовского “Детства” и прочие населявшие мою жизнь персонажи.

Такой ущербной, раздвоенной жизнью я и продолжал жить, не осознавая ее ущербности, отказываясь от предложенного мне реального существования и подменяя его придуманным другими людьми миром. Или скорее мирами, оттого что жизнь в лесковских рассказах была вовсе иной, нежели жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим. Я жил во многих мирах и жалел тех, кому выпало жить лишь в одном, и притом неприятном, мире повседневности.

Мир этот, однако, вскоре сумел пробудить меня от моего литературного сна, но – в отличие от заколдованных принцесс – не поцелуями, а кулаками.

1 сентября следующего года, надев жаркую не по погоде школьную форму, я отправился в пятый класс. Тут – на торжественной линейке – выяснилось, что в нашем классе теперь будет учиться Юра Конкин.

Конкина все знали: он был хулиган, которого постоянно наказывали и обсуждали на педсоветах. Конкин был коровинский, деревенский. Он уже однажды учился в пятом классе, но учителей это не убедило, и его оставили на второй год. Конкину было все равно: он водился с большими ребятами и курил.

На третьей, длинной, перемене Конкин собрал мальчиков вокруг себя. Он был не выше остальных, но как-то шире в плечах. Его форма была старой, прошлогодней, и от нее пахло. Конкин не носил пионерский галстук: он был исключен из пионеров.

– Значит, так. – У него был хрипловатый, приятный голос. – Всем на обеды деньги дают?

Давали всем, кроме Саши Капитаненко: его мать была алкоголичкой, и Сашу кормили по специальному талону, который раз в неделю он получал в учительской. Остальным давали по сорок копеек: пятнадцать на суп, пятнадцать на второе и десять на компот и булку.

– Значит, так. – Когда говорил, Конкин немного брызгал слюной. – Сегодня ешьте, а завтра принесли мне по десять копеек. Соберу на большой перемене.

– На что? – поинтересовался длинный и худой Гена Ермолаев. – На что собираем?

– Ты чо, мудака, что ли? – Конкин не понижал голос, когда говорил матом, как делали другие мальчики в нашем классе. – В ебло захотел? Сейчас оформлю.

Ермолаев не хотел. Остальные, подумав, решили не интересоваться, на что Конкин собирает деньги, и разошлись тихо, размышляя, от чего лучше отказаться – от супа или от компота.

Я не очень понял, что произошло, и решил посоветоваться с папой Темой.

Тот выслушал все и не удивился.

Он оглядел меня как-то по-новому и затем, подставив открытую ладонь, попросил ударить в нее со всей силы.

– Зачем? – не понял я.

Обычно мы обсуждали, где находятся какие столицы, какая страна с кем граничит, или говорили о любимых и не очень писателях. Раньше в нашей семье никто никого никогда не бил по ладоням.

– Хочу посмотреть, какой у тебя удар, – сказал папа Тема.

Я замахнулся и ударил. Получилось звонко и как будто сильно.

– Плохо, – вздохнул папа Тема. – Будем учиться.

В конце 30-х его отца, известного инженера, и политработницу-мать отправили в лагеря, а папу Тему – в детский дом для детей врагов народа. Нравы там мало отличались от тюремных, и он выжил, потому что научился драться, и драться жестоко.

В тот вечер он показал мне, как правильно ставить ноги перед ударом, как отталкиваться и разворачивать бедро, чтобы ударить всем весом, а не просто рукой. Он учил меня бить коротко и без замаха. Он учил меня бить куда больнее.

– Завтра, – сказал папа Тема, – когда твой второгодник подойдет за деньгами, скажи ему, что от тебя пусть денег не ждет. Он начнет “качать”, – это я не понял, но слушал внимательно, – тут сразу бей. Старайся попасть в подбородок, чтобы он потерял равновесие, а потом в нос, чтобы в кровь. Бей, не бойся; с мамой я поговорю.

Думаю, маме он так никогда ничего и не сказал.

Утром перед школой я занервничал. Я не хотел драться: я боялся и надеялся, что Конкин не придет в школу. Потом решил, что проще не ходить в школу самому.

Я постучал в дверь родительской спальни и сказался больным.

– Глупости. – Мама потрогала мой лоб сухими со сна губами. – Ничего у тебя нет. Абсолютно здоров.

Расстроившись, я пошел на кухню, и туда сразу вышел папа Тема. Он сел напротив и молча смотрел, как я ем гречневую кашу с молоком.

Затем сказал:

– Не бойся, все через это проходят. Сейчас побежишь – всю жизнь будешь бегать.

На большой перемене мальчики собрались вокруг Конкина в дальнем углу и сдавали ему по десять копеек. Ермолаев отдал первым и остался стоять рядом, кивая каждый раз, когда очередной мальчик протягивал деньги.

Я не пошел. Я ушел в другой конец коридора, ближе к учительской, и надеялся, что Конкин про меня забудет.

Он не забыл и отыскал меня сам. Конкин был в хорошем настроении и не собирался конфликтовать.

– Гони гривенник, – сказал Конкин. – Я после географии сваливаю.

– Нет. – От страха я не услышал свой голос.

– Чего нет? – удивился Конкин. – Тебе что, на обед не дают?

– Мне дают. – Помня вечерний урок, я поставил ноги параллельно и чуть согнул колени, отступить было некуда. – Это я тебе не даю.

Конкин стоял в фас, чуть сбоку, удобно, под правую руку. Он смотрел на меня удивленно и не знал, что сказать, не ожидая такого поворота дел. Я понял, что не могу больше ждать, оттого что был напуган и хотел убежать.

Я ударил Конкина точно в центр подбородка с правой руки, правильно перенеся вес на левую ногу; этот удар я вчера отрабатывал больше часа. Затем слева боковым и снова с правой прямым, но оба удара ушли в воздух. Я остановился: не понял, что произошло.

Конкин лежал на полу. Он упал после первого удара и стукнулся затылком о пол. Я не знал, что делать: такую возможность мы с папой Темой не обсуждали. По плану, Конкин должен был оставаться на ногах, чтобы в него можно было бить сериями, сдвигаясь в сторону после каждого трех ударов, пока он терял время на разворот. Но Конкин лежал на полу и никуда не разворачивался.

Нас обступили, и где-то совсем недалеко уже были слышны голоса взрослых.

Конкин медленно поднялся на ноги, странно помотал головой из стороны в сторону и молча бросился на меня. Он сбил меня с ног, и мы покатались по полу. Конкин старался освободить руки и ударить в лицо, но я цепко держал пальцы замком у него на спине, не давая вырваться. Затем нас обоих – за воротники школьных пиджаков – поднял учитель физкультуры, и все кончилось.

Меня особенно не ругали и ни о чем не спрашивали: всем в учительской было ясно, что виноват, как всегда, Конкин. Меня скоро отправили в класс, а Конкина оставили до прихода завуча.

В классе все глядели на меня с удивлением, и Ермолаев крутил у виска пальцем.

Они ждали меня после уроков, на узкой тропинке, что вела от школьного двора к гаражам. Их было трое: Конкин, худой шестиклассник по кличке Аким и Ермолаев. Когда я их увидел, я хотел – еще мог – свернуть в сторону и пройти между домами. Но потом вспомнил слова папы Темы и решил не бежать.

Все равно завтра в школу.

Мне мешал портфель. Я не знал, куда деть портфель. Конкина я теперь не очень боялся, но их было трое. В конце концов я решил, что портфелем можно будет закрыться как щитом.

Первым ударил шестиклассник. Этого я не ожидал: я думал, мы с Конкиным будем драться один на один. Они набросились на меня и стали бить со всех сторон. Я успел ударить в ответ пару раз, но не сильно, без прицела, мажа и не причиняя особого вреда. Конкин и Аким прижали меня к стене гаража, держа за руки, и Конкин кивнул Ермолаеву. Тот всю драку прыгал вокруг и махал длинными руками, выкрикивая что-то на выдохе.

– Давай! – приказал Конкин. – Дай ему, Ермола!

Ермолаев съежился и, странно взвизгнув, ударил меня по лицу раскрытой ладонью. Аким засмеялся.

Конкин плюнул на мой портфель и сказал:

– Еще раз прыгнешь – изуродую, блядь. Ты мне теперь рубль должен.

Вечером, когда мама начала допытываться, я соврал что-то про велосипед. Мать хотела намазать меня зеленкой, но я не дал. Было больно, но с зеленкой на лице я не мог пойти в школу.

Папа Тема пришел с работы, как всегда, поздно; я уже лежал в постели, но не мог заснуть. Поговорив с мамой на кухне, он прошел в мою комнату и сел на кровать. Мы помолчали в темноте, потом папа Тема включил свет.

Он осмотрел меня и спросил:

– Он один тебя так?

Я рассказал про события прошедшего дня, и папа Тема стал смеяться. Я не понял: я ожидал жалости и сочувствия.

– Глупый, – отсмеявшись, сказал папа Тема. – Он же тебя испугался, сразу. Вставай, будем учиться.

В тот вечер он научил меня бить носком ноги под колено, а потом серию из двух боковых. И мы выработали план.

На следующее утро я пошел за школу, где курили. Там уже стояли ребята постарше, пряча окурки в кулаках, и с ними курил Конкин. Я оставил портфель за углом и пошел прямо к курящим. Я здесь раньше никогда не был: все мальчики в школе знали, что это место лучше обходить.

Конкин стоял ко мне спиной, и другие не обратили на меня внимания: я был никто и не мог им ничем угрожать. Они громко матерились между собой и о чем-

то незлобно смеялись.

Я подошел к Конкину сзади и позвал:

– Юр!

Конкин обернулся, и мне показалось, что он чуть дернулся от неожиданности. Я подождал, пока он полностью развернется: он был нужен мне в фас. Затем я вдохнул и на выдохе ударил Конкина правым кулаком в лицо.

Нас никто не разнимал. Мы дрались молча, окруженные курящей шпаной, которая тоже молчала.

Конкин победил: он сбил меня с ног и, сев верхом, долго бил по лицу, пока я старался ловить его руки. Потом прозвенел звонок, и Конкин меня отпустил.

Мы оба бежали в класс с разбитыми лицами, и Конкин, задыхаясь от злости, подвывал сзади:

– Рубашку, падла, рубашку порвал. Меня мать за эту рубашку убьет, сука. Измордую после уроков, блядь. Пиздец тебе, Радзинский.

Он оказался человек слова.

Так продолжалось неделю: я находил Конкина утром и успевал ударить несколько раз. Конкин был сильнее и дрался лучше. Он обычно побеждал в утренней драке, но все с меньшим перевесом, и все чаще мне удавалось разбить ему нос или сильно ударить в челюсть. После уроков Конкин ждал за гаражами с кем-то из своих, и они били меня сколько могли. Следующим утром я снова ловил Конкина, чтобы успеть ударить хотя бы несколько раз в лицо.

Про деньги Конкин больше не заикался; он ничего не хотел – только чтобы я отстал.

В конце второй недели он начал от меня прятаться.

С тех пор я знал: бежать нельзя.

Так шло мое детство – собаки и книги, да драки из-за неясных, чужих мне конфликтов, казавшихся ненастоящими по сравнению с конфликтами и страстями, поселившимися в черных значках на белой бумаге книжных страниц.

Затем детство плавно перешло в московскую юность 70-х, озаренную невероятной легкостью бытия.

Жизнь вторая

Советский мажор

1973-1978

Невероятная легкость бытия

Восьмой класс – переломный момент в советской жизни тех лет. Кто не собирался учиться дальше, шел работать либо уходил в профтехучилища – ПТУ, и в девятом классе оставались лишь готовящиеся поступать в институты.

После восьмого класса я пошел в спецшколу с углубленным изучением гуманитарных предметов, в основном литературы. Пошел я туда вопреки своему первоначальному намерению, и эта, как и все последующие перемены в судьбе, произошла случайно, непреднамеренно и потому может рассматриваться как изначальная модель моей жизни.

Моих жизней. Так правильнее.

Не думал, не гадал. Не планировал. Само случилось. Помимо меня.

Казалось бы, пойти в школу, где преподают литературу более углубленно, чем другие предметы, было логичным для меня шагом. Но нет: к восьмому классу я

собирался стать биологом, вернее, этологом – специалистом по поведению животных.

Как? Почему? Естественно, я решил стать этологом, потому что прочел об этом в книгах. Как и обо всем другом.

Лет в десять я открыл для себя Джеральда Даррелла и его веселый мир, населенный экзотичной живностью и приключениями в разных далеких странах, его всепонимающей и всеразрешающей мамой, несуразным братом Ларри и своевольной сестрой Марго. Я заинтересовался животными, стал наблюдать за поведением собак и кошек, мирно уживавшихся в нашей квартире, и скоро начал читать книги Конрада Лоренца, основателя науки этологии. Я твердо решил, что стану этологом, буду ездить по разным странам, как Даррелл, и проводить поведенческие эксперименты с собаками и волками, как Лоренц.

Мир книг – мир доступного. Сказано – сделано, и весь восьмой класс я готовился к поступлению в школу с биологическим уклоном при МГУ. Мне наняли репетиторшу по биологии и химии – несчастную, озабоченную бытовой неустроенностью аспирантку из какого-то НИИ. Раз в неделю она приезжала к нам домой, и мы погружались в мир клеток, анатомию человека и заполнявшие страницы тетради длинные химические уравнения.

Родители остались довольны моим выбором: будет в семье хоть один нормальный, не зависящий от идеологии человек, не связанный с раздвоенным, шизофреническим миром советской творческой интеллигенции, находившейся в постоянном конфликте с кормившей ее властью. Чистое, хорошее дело, говорили родители. Биологи ездят по полям и лесам, рассказывала мне мама, в жизни не видевшая ни одного биолога. Еще лучше стать океанологом, добавлял папа Тема. Все время в воде. На дне. Думаю, ему нравилась идея, что под водой тебя не достанет никакая идеология.

Папа Эдик тоже одобрил мой выбор: “Подальше от всей этой омерзительной литературно-театральной возни, – сказал он. – Хоть не будешь от этих зависеть”.

“Этими” была советская власть. Моя заблудившаяся в литературе семья была твердо уверена, что у всех в стране, кроме творческой интеллигенции, спокойная, уверенная и устойчивая, не зависящая от власти жизнь. Какой эта жизнь была в действительности, моя семья не интересовалась, как не

интересовалась и любой не своей действительностью. На самом деле “этими”, “другими”, “чужими” для них была не власть, а все остальные, не жившие гуманитарным творчеством. Этих “других” они не знали и знать не хотели и придумывали их жизнь заново, населяя ее собственными тревогами, мыслями и чаяниями. Которые, в свою очередь, не знала и знать не хотела страна.

Власть же была для интеллигенции своей, родной, неотъемлемым компонентом экзистенциальной дихотомии населенного ими симулякра. Не стало той власти – не стало и их. Советская интеллигенция была по-настоящему советской: кровь от крови и плоть от плоти режима. Когда кровь та перестала течь, оказалось, что другой крови у них в жилах нет. Как не было у товарища Сталина других писателей, кроме тех, что были.

Мне могло посчастливиться вырваться из созданного творчеством химерного мира и войти в мир настоящий, кабы я стал биологом. На самом деле мой придуманный мир биологии был тоже мир книг, мир, созданный на их страницах и, скорее всего, не имевший отношения к настоящему миру. Я хотел убежать из одной химеры в другую. Из одной придуманной жизни – в другую, не менее придуманную.

Не тут-то было. Даже этого я не смог.

В восьмом классе меня отправили на районную литературную олимпиаду – то ли потому, что я хорошо учился по литературе, то ли оттого, что никто больше не хотел ехать. Мне сообщили, что я должен поехать и защитить честь школы. Я поехал и защитил.

Через две недели оказалось, что я выиграл олимпиаду, и меня отправили на московскую городскую олимпиаду по литературе. Ее я тоже выиграл, но не обратил на победу должного внимания, поскольку дело было в мае и я усердно готовился к выпускным экзаменам за восьмой класс и, главное, к вступительным экзаменам в биологическую школу.

Первый экзамен в ту школу оказался не по биологии, а по химии. Я его провалил – получил четверку. На следующий меня не позвали: получившие четверки были не нужны. Так я не стал этологом, и оттого поведение животных остается для людей загадкой.

Возвращаться в дегунинскую школу я не хотел: стыд, позор, да и неинтересно. Отыскав диплом победителя московской городской олимпиады, я отправился поступать в школу с углубленным изучением гуманитарных предметов на Кутузовском проспекте. Меня – ввиду олимпиадных заслуг – приняли без экзамена, и я уверенно, хоть и незапланированно, вступил на скользкую и опасную тропу высокой гуманитарности. И катился по ней еще восемь лет аж до самой посадки в тюрьму.

Советские мажоры

Москва 70-х годов – золотой поры советского застоя – жила удивительно богатой и насыщенной жизнью. По крайней мере так казалось населявшим ее детям известных родителей. Моя фамилия вызывала безошибочное узнавание, и путь в эту увлекательную жизнь оказался мне открыт.

Мы все были чьими-то дочерями и сыновьями и – за неимением других достоинств – старательно пользовались своими фамилиями. Больше-то у нас ничего не было.

Деньги не играли особой роли в советской жизни, поскольку их было не на что тратить. Статус определялся привилегиями, причастностью к когорте избранных и вхожих. Советская власть старательно создавала и поддерживала эту кастовость, и мы, дети РОДИТЕЛЕЙ, воспринимали подобную социальную стратификацию как данность и непреложность. Мне стыдно об этом вспоминать и в этом признаваться, но врать еще более стыдно.

Мир “центровых” был миром больших квартир в ведомственных домах внутри Садового кольца, где не полагалось случайных соседей. Все соседи носили известные фамилии и были кем-то. Забредшие в этот мир случайные люди с окраин должны были заслужить свою к нему принадлежность. Красивым девочкам из отдаленных мест столицы это давалось легче, от мальчиков же требовалось быть кем-то, кому – несмотря на отсутствие правильных родителей – дозволялось в этом мире остаться.

Такое случалось нечасто: наш мир функционировал по законам дарвиновского естественного отбора, где выживание сильнейших было заменено на выживание

причастных. Это я заявляю как неслучившийся биолог.

Мой опыт, однако, отличался от опыта моих друзей: я вырос в Дегунине, а не в центре. Я вырос в окружении чужих, не сливаясь с ними, но и не особо выделяясь, научившись говорить их языком, но не став ими. Мой мир до девятого класса случался летом, во время каникул, когда меня отправляли в родной пионерский лагерь Литфонда СССР, куда каждый год съезжались все, кого я знал еще с детского сада того же Литфонда. Все, кто рос в заботливо сплетенном их родителями коконе чужой стране жизни, состоящей из книг, спектаклей, сценариев фильмов, – жизни из чужих слов. Мои друзья по прослойке ходили в столичные языковые спецшколы, где сидели за партами с детьми из других советских каст; у них не отнимали на перемене деньги, и их не били после уроков у грязных гаражей. Их вообще пока не били. Эти уроки им еще предстояло выучить.

С одной стороны, я был такой же, как они: обладатель правильной фамилии, чьи родители работали в правильном месте и говорили правильным языком на правильные темы. С другой стороны, я чувствовал себя взрослее, опытнее и злее. Я был чужим среди своих, никогда, впрочем, не став своим среди чужих. Я мог сойти за своего, но им не был.

Эта отдельность от окружения, нетождественность ему стали парадигмой всей моей жизни: мое черкесское младенчество отдалило меня от детсадовского литературного окружения, мое дегунинское школьное детство воспитало меня по иным законам, чем законы московских элитных школ, и дальше я жил и продолжаю жить отдельно от окружающего меня мира. Уже больше тридцати лет я живу в чужих странах, живу жизнью этих стран, оставаясь чужим – вечным приезжим. Я говорю на чужом языке, ставшим мне вторым родным, и мои дети, родившиеся и выросшие в этих странах, выросли под чужие колыбельные и считались под чужие считалки: Mini, mini, mani mo, catch the tiger by the toe... Мини, мини, мани мо, кэтч дзе тайгер бай дзе то...

О чем это?

О чужом.

Моей страны больше нет. Как со свойственной ему элегантностью слов, написанных за него спичрайтерами, сказал президент Рейган: “The Soviet Union

is no more". Нет его больше, и все тут. На месте моей страны, занимая большую ее часть, лежит другая страна – Россия. Иногда – изредка – я приезжаю туда и, как обычно, чувствую себя чужим. Я говорю на том же языке, но говорю о другом. Я не пережил с этой новой страной весь ее путь перемен, развалов, вставаний с колен и оттого не могу быть таким, как друзья моего детства и моей юности, прожившие и продолжающие проживать со своей страной все перемены, измены, горести и радости. У них есть Родина – такая, сякая, но в ней они дома, как были дома в своих “центровых” языковых школах и в своих “центровых” ведомственных домах. Они были и остаются тождественны своей жизни. Я же не был дома ни тогда, ни потом – чужой среди почти своих. Не свой среди совсем чужих.

Я привык. Даже нравится.

Тогда, в разгульных 70-х, я прибил к новой-старой группе золотой молодежи моей юности. В новой школе, находившейся во дворе дома, в котором жил дорогой Леонид Ильич Брежнев и прочая партийная элита, я нашел и старых, и новых друзей. Старше меня на год учился Паша Брюн, которого я знал по пионерскому лагерю Литфонда, – впоследствии художественный директор знаменитого Cirque du Soleil, с которым дружил и продолжаю дружить до сих пор. 1 сентября, опаздывая на первый урок и заблудившись в новой для меня школе, я встретил в коридоре такого же новенького и также заблудившегося, но совершенно не тревожившегося по этому пустячному поводу Сашу Лебедева, ставшего моим вечным другом. С ним и Пашей, и с другими, навсегда оставшимися моими друзьями, прошла моя золотомолодежная юность – привезенные чьими-то родителями из-за границы диски рок-групп, “Джизус Крайст Супер Стар”, джинсы “Левайс”, дешевый алкоголь и торопливый секс со случайными и менее случайными девочками в просторных квартирах внутри Садового кольца – пока не вернулись с работы взрослые.

Мы много пили, много курили и много говорили – радостные, упоенные своей юностью и незаработанной нами привилегированностью, будущие хозяева советского будущего, не подозревая, что будущее это окончится раньше, чем через двадцать лет.

No more...

Где друзья моей золотомолодежной юности 70-х, носители громких фамилий? Коля Данелия, Фил Смоктуновский, Настя Ефремова? Коли уже давно нет в

живых, Фил – по последним сведениям – пребывает последние сорок пять лет в тяжелом наркотическом дурмане, и только у Насти – нормальная жизнь в различных театрах и театральных организациях.

Отчего мы пытались сжечь свою юность в алкоголе и наркотиках?

Мы были уверены, что будем жить вечно и будем жить хорошо. Мы готовились сменить своих мам и пап на их ответственных и интересных постах и жить как жили они – заботливо отгородившись от чужой жизни. Я старался, пытался проникнуться этой уверенностью, но опыт другой жизни мешал, напоминая, что нужно быть готовым драться, когда у тебя потребуют деньги, выданные на обед. Когда тебя будут бить за то, что ты живешь не в том доме, или просто будут бить. Так, ни за что.

Я уже знал, что бежать нельзя.

Конец невероятной легкости бытия

Не случившись как биолог, я смирился с уготованной мне участью кого-нибудь окололитературного – то ли редактора, то ли критика, хотя в душе я – конечно же – хотел стать писателем. Ничего более ценного, более желанного и достойного я представить не мог.

Писатели в моем представлении были не только демиургами, создававшими и населявшими собственные миры. Они были носителями определенной миссии, определенного взгляда на мироздание, на отношения между богом и человеком и между человеком и обществом. Писатели взывали к каждому исполнить свой долг.

Жизнь как служение.

Все было сказано пушкинскими строками:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнишь волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Вот так – ни больше, ни меньше. Особенно ни меньше. На меньшее я был не согласен.

Взраставшая нас русская литература XIX века несла в себе огромную опасность для социальной ткани советского общества, оттого что требовала от читателя исполнения миссии, восстановления справедливости и защиты униженных и оскорбленных. Наши деды, начитавшись этой литературы, пошли на баррикады сначала в 1905-м, затем в 1917-м, потому что осознали свой долг перед угнетенным самодержавием народом. Русская классическая литература требовала, взывала, жгла сердца и умы людей глаголами и другими частями речи, и мы, внуки и правнуки совершивших революцию, ощущали свою миссию, свой долг: рассказать правду. Сорвать завесу лжи и восстановить в мире справедливость. Общественный конфликт между “узурпировавшей” властью группой партийных функционеров и “угнетенным” народом воспринимался как конфликт космический, как борьба добра и зла, оттого что русская литература втолковала нам апокалиптическое видение мира, создав образ конечной битвы между светом и тьмой с шагающим впереди революционной матросни Иисусом Христом – в белом венчике из роз. Русская литература XIX века, как никакая другая, ощущала себя наследницей библейских пророков. Она велела читателю не просто читать, а выбрать сторону и действовать в соответствии с возложенным на него долгом, поскольку долг тот возложен свыше:

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал...

Мы внимали божьему гласу, доносившемуся до нас через рупор российской словесности. Мы не могли не выполнить долг, ибо по его исполнению Федор Михайлович и Лев Николаевич обещали нам никак не менее, чем “слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение”. Мы ощущали себя солдатами на поле боя, где разыгрывалась вселенская битва добра со злом. Мы становились участниками Битвы.

Отчего нам было просто не читать книги и сочувствовать героям в их переживаниях? Не могли: гнал нас в атаку на силы зла моральный императив. По крайней мере тех из нас, кто внял гласу сверху, а не остался лежать в пустыне. Тех, кто ощущал себя духовной жаждою томимым.

Русская литература поломала много жизней. Я думаю, советская власть могла победить диссидентское движение, только отменив преподавание русской литературы в школах. Странно, что никто в КГБ до такого не додумался.

Жизнь моя по мере углубления в литературу становилась все менее и менее веселой, менее мажорной или, пользуясь нынешними социологическими терминами, менее мажорской. Веселье последних двух лет школы, прошедших в угаре московской золотомолодежности, в бесконечных полупьяных сборищах в пустовавших больших кооперативных квартирах чьих-то очередных привилегированных родителей, сменилось трезвостью начала студенческой жизни.

Я – уютно катясь по проложенному судьбой и семьей биографическому руслу – поступил на филологический факультет МГУ, а куда же еще? Солнце должно было выйти для меня поутру следующего дня, застав меня младшим редактором какого-нибудь никому не нужного литературного журнала или литературным критиком, пишущим ненужные статьи о не нужных стране книгах. Чем не жизнь? Ан нет: глагол прожег дырку в сердце, и глас воззвал меня к действию. Я вытянулся по струнке и четко ответил: “Есть!”

Самиздат был неременной частью жизни нашей семьи: родители приносили и прятали в разных местах квартиры полуслепые копии перепечатанных книг Солженицына, Зиновьева, Даниеля и Синявского. Я находил эти наскоро и неумело спрятанные страницы и читал их запоем, ощущая причастность к Битве. Потом так же легко эти страницы нашли оперативники КГБ, проводя у нас обыски.

Филологический факультет МГУ в середине 70-х был женским царством. Возможно, таковым он и остается. Тогда же соотношение полов было примерно 20:1 не в пользу сильного пола. Или, наоборот, в пользу сильного пола, учитывая редкость и ценность мальчиков на факультете.

Учили нас прекрасно, и учиться было интересно. Лекции по развитию русского языка читал профессор Панов, высказывания которого мы считали фрондой. Ничего особо смелого Панов, конечно, не говорил, но мы – повсюду ищущие оппозиционность – интерпретировали его слова, как нам хотелось.

На лекции по изменению орфоэпических норм – правил произношения – Панов среди прочего приводил примеры отвердения переднеязычных зубных звуков [д] и [т] перед мягкими губными, как, скажем, [в].

Михаил Викторович говорил тихим занудным глухим голосом, и мы ловили каждое слово:

– Произносительной нормой русского языка ранее считалось мягкое произношение переднеязычных зубных перед мягкими губными, как в словах “дъверь” и “Тъверь”. В дальнейшем переднеязычные отвердели, и теперь допускается произносить “дверь” и “Тверь”. Впрочем, в слове “Тверь”, – подумав, добавил Панов, – произошли более радикальные фонетические изменения: теперь оно произносится “Калинин”.

Мило, остроумно, но при чем тут политика? Мы же все наделяли политическим смыслом, оттого что власть наделяла политическим смыслом любое общественное деяние. Мы были хорошими учениками советской власти, приняв ее правила игры.

Советская власть методично и последовательно лишала своих граждан общественного пространства. Все, абсолютно все к 70-м годам рассматривалось пережившей оттепель 60-х властью через призму политической лояльности либо отсутствия оной. Советская власть старательно зачищала любые, самые невинные проявления несанкционированной общественной активности, запрещая преподавание йоги, закрывая кружки уныло тянущих звук “ОМ” кришнаитов, не разрешая выступления рок-групп и закатывая бульдозерами выставки неформальных художников, оттого что в стране времен застоя царила паранойя монополии власти на любую инициативу.

Общественное поле перестало существовать, автоматически превратившись в поле политическое. Власть оказала себе медвежью услугу, вытолкнув в это политическое поле множество совершенно не оппозиционно настроенных людей, объявив их инициативы скрыто нелояльными по отношению к власти,

хотя ничего нелояльного в этих общественных и творческих инициативах изначально не планировалось. Оттого советская власть, казавшаяся себе вечной, так быстро пала: к ее концу многие люди считали свое – подчас бытовое, подчас бытийное – недовольство политической оппозицией и легко распрощались с надоевшей им властью, как легко мы снимаем тесную обувь, придя домой.

Нынешняя российская власть, судя по всему, повторяет ту же ошибку, объявляя общественные инициативы граждан скрытой политической оппозицией. Все эти движения по проверке плагиата в диссертациях чиновников, все инициативы по запрету мигалок или протесты водителей-дальнобойщиков против платных дорог рассматриваются властью как вызов, как борьба с ее монополией на реформы, на критику и, объявленное таковым, таковым становится. Если у общества нет другого, кроме политического, пространства, все становится политическим. Частная жизнь граждан перестает быть частной, и подавление своей частной жизни граждане начинают воспринимать как репрессии. А репрессии рождают оппозицию.

Беда любой тоталитарной, как и авторитарной, власти, что она не сознает пределов собственной компетенции, считая, что все имеет к ней отношение, что все в ее ведении и должно ею контролироваться. Как “у России нет границ”, так и у власти нет границ, и она ослабляет себя, простирая свой контроль все дальше и дальше. Козьма Прутков уже высказался относительно того, можно ли объять необъятное. И был прав.

Советская власть считала малейшее проявление неофициоза оппозиционным по умолчанию. Мы поверили власти и тоже начали считать любое отступление от канона навязываемой нам государственности смелым вызовом. Странно вспоминать, но театральные постановки на Таганке, бывшие просто формальными изысками любимовской режиссуры, казались нам верхом смелости, возведенной на площади баррикадой сопротивления официальной косности и ретроградству. Милая студенческая клоунада руководимого Марком Розовским Театра МГУ “Наш дом” рассматривалась как серьезное политическое высказывание, и мы, изголодавшиеся по свободной инициативе, искали ее везде, искали во всем. А как поется в старой советской песне, кто ищет – тот всегда найдет.

Я нашел достаточно быстро, потому что был окружен творческой интеллигенцией, сталкивающейся с тоталитарным контролем власти каждый день. Многие чаяния творческой интеллигенции были именно творческими, но

поскольку все воспринималось властью сквозь призму идеологии, то и становилось таковым. Творческое высказывание превращалось в политическое и начинало жить как политическое заявление, как вызов. Сделав все политическим, советская власть победила в конце концов саму себя.

Я начал с распространения самиздата, следуя советскому диссидентскому правилу: прочитал сам – дай прочитать другому. Принцип размножения, умножения диссидентов был прост: узнал сам – Расскажи другим. Я узнавал сам и рассказывал.

Я старательно играл в подполье, гордясь собственной смелостью. Больше всего в этой игре мне нравился я сам, вернее, моя кажущаяся тождественность тем, о ком я читал в правозащитной литературе.

Власть же отнеслась к этой игре более ответственно, приняв ее за нечто серьезное, заслуживающее внимания. Это лестное для меня внимание в конце концов обрело форму отеческой заботы, и 23 ноября 1982 года Комитет государственной безопасности СССР арестовал меня по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, что являлось особо опасным государственным преступлением, подпадавшим под статью 70 (1) УК РСФСР.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/radzinskiy_oleg/sluchaynye-zhizni

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)